

Лев Абрамович Кассиль Есть на Волге утес



Мало кто знал в городе, где и как потерял свой голос Леонтий Архипкин, по прозвищу Граммофон. А ещё меньше было тех, кто слышал когда-нибудь и помнил этот голос. Уже сорок лет Леонтий Архипкин говорил сиплым и шероховатым шёпотом, беспрестанно отхаркиваясь и странно курлыкая, словно граммофон, у которого кончилась пластинка, но сбившаяся игла ещё царапает круг, мотаясь из стороны в сторону. Однако заволжские старики уверяли, что было время, когда голос Леонтия Архипкина гремел по всей Волге, на Среднем и Низовом плёсе, от Нижнего до Астрахани. Не Граммофоном, а Громобоем звали тогда Архипкина — такой грозный и непомерный был у него бас.

Он пел на пароходах и пристанях, в береговых трактирах и чайных старые волжские песни. Рассказывали, что голос у него был так огромен и широк, что когда забирался он ввысь, то люди невольно вставали на цыпочки, словно дотянуться до чего-то хотели, а когда уходил Громобой на самый нутряной басовый низ, то казалось, что не сам он поёт, а земля под ним загудела, и слушатели приседали, клонились, словно хотели припасть ухом к береговому песку. Ходил рассказ, как однажды на «Фельдмаршале Суворове» на подходе к Саратову разладился гудок, а двухтрубный «Суворов» знаменит был как самый голосистый пароход на Волге. Случилось плыть в тот раз на «Суворове» Громобоем. Он уже спел все свои песни и, опрокинув в неутомимое горло полбутылки водки, прикорнул на корме под пожарной кошмой, на бухте каната. И будто бы капитан приказал разбудить его, позвал на мостик и стал просить:

— Будь добрым, как к Саратову подваливать станем, погуди, сделай милость! Не пристало «Суворову» молчком подходить!

И, говорят, Громобой потребовал ещё полбутылки, освежился немножко и, когда входил «Суворов» через прорану к саратовским пристаням, велел для виду пустить пар через свисток, а сам, опершись обеими руками о медные поручни мостика, дал подходный... Вот

какие рассказы ходили про Леонтия Архипкина.

Певал Громобой «Из-за острова на стрежень...», «Меж крутых бережков...», «Жигули», но лучше не было у него песни, чем «Есть на Волге утёс...». Его заслушивались на корме палубные пассажиры, слушала с балкона «чистая» публика из первого класса. А он, кончив песню, ртом ловил сыпавшиеся сверху гривенники и, неизвестно куда девая их, щёлкал языком, будто глотал, и тотчас запевал новую. Пел он и за проезд, и за водку, пел и просто так, для души, если просил народ — пристанские, водоливы, плотогоны, бакенщики, слушатели хотя и бесплатные, но дорого ценившие песню.

— Ох, зевластый ты! — говорили Громобоем. — Дивное чудо голос у тебя! Учиться бы тебе, Леонтий, так ты в самом императорском театре оперу бы пел. А то пропадёшь тут ни за тютюлюли, даром.

Купцы, слушая Громобоя за стерляжьей ухой и икоркой, не раз обещали определить Леонтия в учение.

Пароходчик Хребтюков однажды взял его с собой в Москву.

Леонтий вернулся через полгода, страшный, помятый весь и потемневший, словно утопленник, вытасненный из-под плиц парохода. Он появился на берегу запухший и молчаливый. А когда заговорил, ахнули все: сгинул голос Громобоя! Только жалкое сипение вырывалось из перекошенного рта... И прозвали тогда Леонтия очень обидно — «Граммфон». Был Громобой, а стал Граммфон!

Давно уже забыли в городе, откуда пошло это прозвище. Так и жил Граммфон, безголосый, хрипатый. Он спился, оборвался, пропадал где-то и снова показывался на берегу. Летом он появлялся в городском саду, продавал мороженое. Он стоял у входа, огромный, широконогий, в просторной толстовке, запрокинув назад кудлатую голову в рыбацкой соломенной шляпе.

— А ну вот хватай, налетай! — надсадно сипел он. — Разбирай последнее, пойду, шабаш! Мороженое с Северного полюса для освежения голоса! Сам Папанин брал, спасибо сказал!

Бурыми ручищами отбивал он дробь на фанерной крышке своего короба, где были нарисованы белый медведь, грызущий ледяную гору, и северное сияние с выгнутой надписью: «Свежее сливочное».

— Граммфон, дай за восемьдесят! — осаждали его ребята.

И когда, облизывая замлевшие губы, брали они порцию, стиснутую между двух сухих, ломких вафель, он шептал им:

— Помногу-то разом не глотай, а то горло заболит, будешь вот как я...

— Граммфон, а ты разве от мороженого так? — спрашивали ребяташки.

— От мороженого, детки, от мороженого, да ещё от крем-брюле.

К нему все давно привыкли в городе, как привыкли к старой каланче на Колхозной площади, к гудкам лесопилок, к вечернему гулянию на Расходиловке. Считали его придурковатым, чудачком. Так он и жил, никем уже особо не замечаемый, безголосый и почти безымянный, потому что не многие в городе помнили его настоящее имя...

Весной этого года в прибрежном городском саду шла спевка хора из Заволжанского дома пионеров. Репетировали на эстраде летнего театра, похожей на совок. Остывали нагретые за день скамьи, потянуло прохладой. В аллеях и за деревьями уже темнело, на Волге тягучими голосами кричали пароходы. От ребят пахло гвоздичным маслом и обыкновенным керосином: одолела мошкара — приходилось мазаться. На одной из пустовавших скамеек сидели пролезшие сюда ребята из школьного кружка юных техников: Гора Климцов, толстогубый, пятнистый от неровного загара и купанья, и Витя Шугалов, его худенький, очкастый, насупленный и молчаливый товарищ. Они сидели и насмешничали промеж себя. Они тоже кое-что подготовили к предстоящему смотру. И не какие-нибудь там песни, пляски, детский крик, а радиоприёмник особой конструкции, берущий Москву и заграничные станции. Они были убеждены, что настоящее дело только у них, а не у этих пташек певчих...

— А, «профессора» явились! — шипели на них со сцены.

— Цыц, заглохни! — грозил Климцов. — Подумаешь, какой хор имени Пятницкого! «Не тяни кота за хвост»!

— Вот что, друзья, — сказала, высовываясь из-за рояля, учительница Клавдия Петровна, — или чтоб вас не слышно было, или я вас погоню отсюда.

«Профессора» смутились: они не заметили Клавдию Петровну. Торжественно поклялись они, что будут сидеть тихо и даже дышать станут только в себя.

Репетиция продолжалась. Пели ребята хорошо, звонкие голоса их, как стая воробьёв, вдруг, по одному движению Клавдии Петровны, разом взлетали и исчезали замирая. Даже «профессора» забыли о том, что пришли позлить певцов, и заслушались сами. Вдруг они почуяли за собой чьё-то свистящее дыхание.

Друзья оглянулись.

— Гляди-ка: Граммофон прибыл! Нашим певунам горло мороженым прочищать.

Но Граммофон на этот раз был хотя и не совсем трезв, но очень серьёзен. Осторожно, чтобы не зашуметь, он поставил на пол свой голубой короб. Он слушал потупившись, легонько мыча про себя, раскачиваясь в лад с песней. Один раз он чуть было не захлопал, но вовремя спохватился, смущённо закурлыкал и, достав бумажку и табак-полукрупку, стал свёртывать. Как раз в эту минуту хор запел «Есть на Волге утёс...». Пальцы Граммофона вдруг онемели, точно разучились скручивать сигарку, табак просыпался, но Граммофон не заметил этого. Он встал, мохнатый, большепалый, как медведь на коробе. Он поднялся, плавно качая руками: в одной была недокрученная сигарка, в другой — кисет. Ребята в хоре заметили его. Первые голоса, самые непоседливые, зафыркали и стали подталкивать соседей. Вот уже и вторые голоса — басовитые старшеклассники и густоголосые девочки-альты — все смотрели на Граммофона. И так как смотреть на него было, конечно, интересней, чем на обычную руководительницу, то ребята сперва посмеивались, а потом незаметно подчинились Граммофону, стали слушаться его движений и запели совсем не так, как требовала Клавдия Петровна.

— Что такое? В чём дело? Это опять...

Учительница повернулась к скамьям, чтобы распечь юных техников, но увидела Граммофона. Старик смутился и сел, суя в рот пустую сигарку.

— Гражданин, я вас очень прошу не мешать нам. Стыдно! Взрослый человек... Что? Не слышу.

— Он громче не может, — зашептали ребята.

— Почему не может?

— Он, когда маленький был, мороженым простудился.

— Чепуха какая!

Но тут Граммофон сам подошёл к сцене. Высокая эстрада была ему по грудь.

— Извините, если попрепятствовал, — засипел он, — только песня эта очень мне известная, я лично её очень сильно принимаю на сердце... И, если позволите, имею замечание...

— Ну, ну? — снисходительно и терпеливо сказала Клавдия Петровна.

— Вот второе колено надо не так. Песня эта волжская, старинная, хоть, говорят, слова в ней и письменного сочинения. Но музыку теперь неверно поют, не по-волжски оборот дают. Тут, где «на вершине его не растёт ничего» поётся, надо вот чуток голосом скинуть.

Граммофон пытался что-то пропеть, но захрипел, лицо его налилось, он беспомощно махнул рукой.

— Не имею нынче чем показать, не могу давать примеру... А бывало, поверите ли, товарищ руководительница, — можете стариков, которые есть ещё живы, спросить — никто так этот «Утёс» не исполнял!

— Ну, хорошо все это, — недоверчиво глядя на него, проговорила учительница, — вы пели по-своему, а нам уж не мешайте по-нашему. Так и условимся.

— Это Граммофон! Он всегда какой-то чудной, — сказала одна из девочек.

— Да, Граммофон! — Старик выпрямился. — Так и умру Граммофоном. А вот почему, спрашивается, Граммофон? Было время — Громобоем звали. Вам хорошо, вас учат всему, вы ноты знаете, а я вот... Меня за это самое «Есть на Волге утёс...» купец Хребтюков Максим Евграфович в Питер возил. Обещал в консерваторию определить. У меня голос был на всеобщее изумление. Я такую низину мог брать, что в Самаре, бывало, пою, а люди удивляются: «Неужто ещё ниже возьмёшь? Этак до самой Астрахани спустишься». Верьте не верьте — правда. Но только что из этого получилось? Застряли мы в Москве. Купцы, рестораны... А хозяин меня возит, хвастается мной. Вот, мол, бурлака привёз, неслыханный голос имеет. Тогда только мода пошла на граммофоны. Привёз меня Хребтюков куда-то, говорит: «Запишите его для машины». Подставили мне какую-то трубу, ну, пропел я в неё «Утёс» да ещё бурлацкую нашу «Дубинушку». Сделали нам пробную пластинку. Послушал я её, даже сам подивился своему голосу: изнутри-то я себе его не таким слышал. Внутри-то свой голос через кость идёт... Но, действительно, сила есть. А Хребтюков велел только три пластинки отлить — одну мне подарил, а две себе взял. Меня уж в то время переманивать стали другие купцы. Один с лесных пристаней был, Костырин. И тут — уж не знаю как, в отместку, что ли, — напоили меня как-то этого Костырина приказчики-молодчики, хватил я какой-то едучей кислоты вроде купороса, все горло спалил. Только и спасло меня, что на заглоте сжатие получилось и в желудок не попало, а то бы всю требуху мне сожгло. Загремел бы я на тот свет прямым направлением. Однако задухло все у меня. Для дыхания трубку вставляли. Вот и повредили мне голос. С тех пор и живу Граммофоном, да ещё без пластинки... Пропала та пластинка. Я сперва с ней по трактирам ходил, за пятак в машину играть давал. Протёрли её, заиграли всю, а потом разбилась. Жалко! Там так и написано было: «Утёс Стенька Разина», народная волжская песня. Исполняет бурлак-волгарь Архипкин. По заказу купца первой гильдии М. Е. Хребтюкова».

Едва он произнёс это, как Горка с Витькой переглянулись в странном волнении. На ребят-хористов так подействовал рассказ Граммофона, что они даже перестали отмахиваться и только пальцами осторожно сгоняли с лица осмелевших мошек. Даже строгая Клавдия Петровна была смущена. Она недавно приехала в этот город и ничего не слыхала об истории Граммофона.

— Ну, простите, не знала, — сказала она. — Что же, милости просим, товарищ, приходите к нам на репетицию! Будет очень приятно, если вы нам поможете. Так как там поётся, вы говорите? Идёмте к роялю, я попробую подобрать.

Между тем мальчики мчались домой, по очереди забегая вперёд и оборачиваясь лицом друг к другу.

— Витька, помнишь, а?

— Горка! Это навряд ли. Вдруг не та?...

— Можешь мне поверить, та!... Не считай меня дурным. Мы знаем что сделаем? Когда на смотре будем нашу аппаратуру показывать, поставим её через адаптер, все и услышат. Вот будет нашим «не тяни kota за хвост» надставочка!

— Жалко его... правда? — говорил, запыхавшись, Шу-галов. — Так все думают — врёт он, а не знают, что он на самом деле пел. Хуже нет, когда так смеются и не верят...

— Это ничего, что она у нас на две половинки треснула. Склеить можно. Верно, Витька?

— А ты как догадался, что это та самая?

— А я вспомнил, что там на пластинке карандашом написано было. А потом ещё подумал, что пластинку-то мы в кладовке нашли, в Доме пионеров. А где наш Дом пионеров, там как раз раньше этого самого купца дом был.

Они прибежали домой к Климцовым и сейчас же полезли на подлавку, которую Гора называл своей лабораторией. Там лежали всякие инструменты, батарейки, лампочки, фарфоровые ролики, кружки. Над всеми этими сокровищами висела небольшая железная вывесочка: череп и две скрещённые молнии были нарисованы там, и надпись печатными буквами гласила: «Не трогать! Опасно для жизни». Очень неприятно сообщать об этом, но

нужно рассказать, что суровую вывесочку эту Гора Климов, пренебрегая смертельной опасностью, содрал с электрической водопроводной станции. Дома грозная надпись была повешена для устрашения младшей сестры Лидки, которая любила трогать неприкосновенные предметы юного техника.

Одну половинку расколотой пластинки друзья быстро нашли. На разорванной бумажной наклейке можно было разобрать начало знакомой полустёршейся надписи. Но второй половинки нигде не было. Начали искать, и что же оказалось? Мать подложила обломок пластинки под горячий утюг на гладильной доске!

— Вижу — валяется... — оправдывалась она.

— Эх ты, мама, мама! — только и мог сказать Горка.

От горячего утюга кусок пластинки очень сильно пострадал, но делать было нечего, и друзья приложили испорченную половинку к той, которая была у них. Что за история! Половинки не сходились. Как ни поворачивал их Гора, на какие хитрости не пускался Витя, половинки не сходились, края не совпадали.

— Витька, — сказал вдруг Горка страшным голосом, — я тебе сейчас такое скажу, что ты не знаешь уж чем меня назовёшь... На, стукни меня как следует!

Витька поправил очки и без особой уверенности ударил Горку по спине.

— Витька, — продолжал Горка, — я, верно, ту половинку перепутал и нечаянно отдал Фильке, когда ему битые пластинки отдавал. Можешь плюнуть на меня...

Идти к Фильке в тот же вечер было уже поздно. Друзья отправились утром. Они захватили с собой тщательно завернутые в газету разрозненные половинки пластинки.

Филька Жамков, как всегда, обретался на берегу. Он вечно слонялся там у пристаней. Это был долговязый белесый парень лет семнадцати, в лиловой футболке, с розовым, словно обваренным лицом. Нос у него всегда был красный, воспалённый, глаза блеклые, водянистые, как волдыри, а совсем белые и редкие ресницы казались надёрганными из зубной щётки.

— А, физики, химики, изобретатели! — приветствовал он юных техников. — Чем сегодня торгуете, джентльмены?

Говорить правду Фильке Жамкову ни в коем случае нельзя было. Он сразу бы догадался, что пластинка очень нужна ребятам, и запросил бы несусветную цену за поиски исчезнувшей половинки.

— Филька, я тебя в прошлый раз надул нечаянно, — начал Горка и незаметно толкнул локтем Витьку. — Я тебе от одной битой пластинки не ту половинку подсунил. Витька, дай сюда. Вот видишь: это «Фигаро здесь, Фигаро там», оказывается.

Филька внимательно поглядел на мальчиков, но как будто ни в чём их не заподозрил. Он велел подождать минутку, исчез куда-то и вскоре вернулся и вынул из-за пазухи вторую половинку пластинки «Есть на Волге утёс...». Мальчики приложили половинки одну к другой, края плотно сошлись, трещина была едва заметна.

— Ладно, — сказал тогда Филька, — давайте уж я вам склею её, починю. Послезавтра приходите — как новенькая будет. Это что за пластинка?

— А так, неинтересная... Старьё какое-то. Просто мать ругается, что разбил её да ещё отдал, — соврал Горка.

Через день друзья явились к Фильке за пластинкой, но Филька сказал, что она ещё не готова, и велел прийти через два дня. Через два дня Фильки не оказалось дома. Ребята жалели уже, что отдали ему чинить такую важную пластинку.

— Надо было нашему радисту Семёну Ильичу дать, он бы сделал, — ворчал Витька.

— Ну, тогда бы все и узнали про это! Что за интерес?

Наконец удалось словить Фильку у пристани.

— А, физики, химики, джентльмены! — закричал Филька. — А пластиночка вас ждёт не дожждётся. Вот, пожалуйста. Крепче целой. Два века проживёт.

У них тряслись руки от нетерпения и никак не ставилась на место игла, когда они дома, на чердаке, запускали полученную пластинку. Но вот она завертелась, иголка пробежала по

первым двум кругам диска, из патефона послышался шорох, и вдруг друзья услышали:

«Жил-был у бабушки серенький козлик, вот как, фить как...»

Мальчики слушали обомлев. Уже давно напали на козлика серые волки, уже остались от козлика ножки да рожки, а они все слушали, не веря своим ушам, все ещё надеясь, что хоть в конце будет про утёс... Потом Горка снял пластинку и осмотрел её.

— Витька, — сказал он, — можешь назвать меня дураком! Даже балдой можешь...

— Да, кажется, это не та пластинка, — подтвердил Витька, подставив пластинку к самым очкам.

Когда они оба, разъярённые, примчались к Фильке, тот сделал изумлённое лицо, потом долго ахал, моргал своими белесыми ресницами, тёр свой красный нос.

— Да не может быть, ребята! Да что вы говорите! Ай-ай-ай, какая неприятность! Бывают в жизни огорченья.

— Давай сюда нашу пластинку, беляна паршивая! — наступал на него Горка.

— Да с моим удовольствием! Да мне что, жалко, что ли? На кой она мне? — егозил Филька. — Только понимаешь какая история... Тут вчера с парохода гражданин один сходил, ну, я ему предлагал старые пластинки. Он у меня кой-чего купил, ну, я ему, видно, нечаянно ту и отдал. Забыл, какая ваша. А ему понравилась. Он послушал, говорит: «Довольно интересный голос». Да и взял я с него пустяки, старая песня про «Утёс». Даже не знаю, чего он, дурак, нашёл в ней. Сами говорили — старьё... Хотите, ребята, я вам за это новую дам — «Лунное танго»?

— Ладно, белуга разварная! — отбегая и сняв очки, с внезапной злобой закричал вдруг тихий Витька. — Только приди к нашей школе — получишь тогда... вот как, фить как!...

Прошло три недели. Кружок юных техников давно уже закончил свой аппарат для смотра. Аппарат вышел превосходным — он принимал все европейские станции даже днём, но Горку и Витьку это уже не могло утешить. Замечательная затея была разбита вдребезги. Они ходили мрачные и даже не являлись больше на репетиции хора, чтобы подразнить певунов. Между тем Граммофон зачастил к школьникам. Он являлся раньше всех на репетиции, и если кто опаздывал на спевку, то сердился и выговаривал опоздавшему. Он приходил мучительно трезвый, и когда его в дни спевок ещё утром угощали на берегу, он отказывался:

— И не проси, не могу сегодня: репетиция у меня.

И такие интересные вещи рассказывал он ребятам о песнях, так толково разъяснял он, где надо петь с разливом, где надо выводить на вздох, а где надо некруто, что Клавдия Петровна заново переучила песню про «Утёс» — так, как советовал Граммофон.

Дней за десять до смотра Гора Климцов утром прибежал к своему приятелю.

— Витька! — закричал он. — Можешь меня уважать, Витька: я нашёл «Утёс»!

Оказалось, что накануне ночью Горка возился с аппаратом — принимал Москву — и вдруг услышал: «Начинаем передачу „Редкие пластинки“... Старая волжская песня „Утёс Стеньки Разина“ в исполнении неизвестного народного девца. Недавно была обнаружена случайно старая пластинка...»

И Горка узнал свою пластинку, которую они как-то давне, когда нашли, пускали через адаптер, пробуя аппарат. Это была пластинка Леонтия Архипкина.

Мальчики решили немедленно написать письмо в Москву. Они начали так:

«Уважаемые дикторы! Вы вели передачу „Редкие пластинки“ и сказали: „Старая волжская песня „Утёс“, исполняет неизвестный народный певец“. Но мы знаем, кто этот певец. Он Леонтий Архипкин и живёт в нашем собственном городе. У него ещё до революции потерялся давно голос, но мы нашли пластинку...»

Все рассказали в своём письме мальчики и просили пустить ещё раз по радио пластинку вечером 18-го числа, когда будет смотр.

Письмо было отправлено, и несколько дней друзья ходили, полные самых приятных предвкушений.

Наконец пришло письмо из Москвы.

«Дорогие ребята! — говорилось в письме. — Вы ошибаетесь, полагая, что мы в своей передаче запускали вашу пластинку. Пластинку эту мы передавали несколько раз...»

— Ну что, видишь? — сказал Горка, едва не плача. — Ну, читай уж дальше...

— «Пластинка была обнаружена полгода назад на фабрике грампластинок, — читал вслух Витка. — Наклейка сильно стёрлась, так как была написана простым карандашом, и мы не могли точно разобрать имя исполнителя. Сохранилось только несколько букв. Теперь благодаря вашему письму мы смогли прочесть всю надпись. Вы дали нам очень ценное указание. Спасибо, ребята! Мы, по вашей просьбе, охотно передадим пластинку ещё раз восемнадцатого, в девятнадцать часов тридцать минут».

И вот наступило 18 июня, день смотра. Мальчики не находили себе места. Они обо всём уже договорились и с руководителем радиокружка, и с Клавдией Петровной. Показ новых аппаратов радиокружка должен был начаться в театре ровно в 19 часов 30 минут.

Мальчики никому не сказали, что именно будет передавать Москва. Известно было только, что передадут одну вещь по их собственной заявке. Оба они страшно волновались. Им казалось, что обязательно случится что-нибудь: электростанция тока не даст, задержится первое отделение концерта или Граммофон напьётся.

Смотр проходил в летнем театре. Стоял теплейший, светлый вечер. С широко разлившейся Волги долетал прогретый ветерок, и по высокой воде, ведя за собой длинную баржу, медленно, взяв на перевал, топал широкобокий буксир.

Публика, против обыкновения, пришла в театр точно к назначенному часу. В этот вечер зрители были так же нетерпеливы, как и исполнители. На длинных скамьях летнего театра сидели отцы в пиджаках, хранивших складки от долгого лежания в сундуках, и матери в чёрных кружевных шالях.

Сперва выступал хор. Он имел шумный успех. Но многие были озадачены, когда Клавдия Петровна, объявляя песню про утёс, вдруг сказала:

— Исполняем по старому напеву, сообщённому нам товарищем Архипкиным Леонтием Кузьмичом.

В публике зашумели насмешливо:

— Это какой Архипкин? Граммофон, что ли? Пьяница-то? От него жди толку! Этот уж сообщит!... Ай да курлы-курлы!

Граммофон от волнения к вечеру совершенно изнемог и теперь бегал каждые пять минут «подкрепляться» куда-то по соседству. Первое отделение уже заканчивалось, и бурные родительские аплодисменты заставляли без конца выходить на сцену Клавдию Петровну и её питомцев. Подходило время показа работы юных техников — радистов четвёртой школы. Граммофон, который теперь уже считал себя тут своим человеком, а сегодня окончательно осмелел, толкался за сценой, помогал носить аппаратуру и основательно мешал всем. Оставалось уже совсем мало времени до начала передачи из Москвы, как вдруг Граммофон, не зная, как проявить своё усердие, взялся подсобить ребятам, тащившим тяжёлый выпрямитель, качнулся и выпустил аппарат из неверных рук. Аппарат ударился об угол стола, и одна из ламп разбилась. Убито глядел Граммофон на содеянное...

— Эх, если бы вы знали только, что вы наделали сами себе! — закричал Горка.

Радист Семён Ильич бросился исправлять повреждение, заменил лампу, переключил что-то. Вдруг прибежал переполошённый администратор.

— Вы себя режете... Начинайте! — кричал он, вытаскивая часы и поднося их всем по очереди. — Вы должны были начать в девятнадцать часов тридцать минут? Поздравляю!... А сейчас уже двадцать часов тридцать пять минут!

Мальчики, побелев, схватили друг друга за руку. Семён Ильич устало посмотрел на администратора.

— Уберите этого отсюда, — сказал он тихо, — он мешает мне настроиться на Москву.
— Какая тут Москва! — кричал администратор. — Вы уже пропустили час!
— Втолкните ему кто-нибудь: у нас же время на час впереди. И ваши часы спешат минут на семь. Сейчас по московскому времени девятнадцать часов двадцать шесть минут. У меня всё в порядке. Давайте звонок. Начинаем.

Было очень тихо в летнем театре, когда из-за тюлевого экранчика аппарата, стоявшего на сцене, раздалось:

— Говорит Москва. Начинаем концерт по заявкам радиослушателей. Ученики четвёртой школы города Заволжанска просили нас передать старинную волжскую песню «Утёс Стеньки Разина» в исполнении их земляка, народного певца Леонтия Кузьмича Архипкина...

Лёгкий щелчок, шорох — и могучий, благородных тонов, непостижимо низкий и раскатистый бас запел:

Есть на Волге утёс; диким мохом оброс
Он с боков от подножья до края
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...

Граммфон сидел в первом ряду. Он медленно приходил в себя. Одёрнул тужурку, полез было за кисетом, но спохватился. Он растерянно оглядел всех, напряжился и вдруг расправил грудь, поднёс сжатые кулаки к горлу, но наклонился и бережно опустил руки на колени. А вокруг уважительно притихшие люди слушали его, Архипкина, бывший голос, дивясь красоте звука и широкой удалой силе его.

Над крутым обрывом, над волжскими откосами, над неоглядным безмолвием реки, к темнеющим горам, к далёким заливным лугам уходила величавая и бескрайняя песня:

И поныне стоит тот утёс и хранит
Все заветные думы Степана
И лишь с Волгой одной вспоминает порой
Удалое житьё атамана...

Граммфон вдруг подался вперёд и, громоздкий, кряжистый, стал приподниматься, медленно оборачиваясь лицом к народу. На него замахали руками:

— Тс-с!

— Это я, слышь, сам пою... — прохрипел он.

Но сосед его, сутулый лодочник с круглой мускулистой спиной, крепко взял его за руку и посадил:

— Сам поешь — сам и слушай и другим не мешай... Леонтий ты Кузьмич! — добавил он вдруг мягко.

И Граммфон сел. Кто знает, что он думал в ту минуту! Думал, должно быть, что вот вернули ребята хоть и не ему самому, но для других его голос и славу. Возможно, что завидовал этим затихшим, но горластым, у которых вся песня впереди. Может, жалел, что не вовремя он на свет родился и не допел до дней, когда хорошая песня стала народным добром. А может, совсем не то думал Леонтий Граммфон. Или не так. Поди угадай, что чувствует человек, когда ему так хорошо и так жалко себя!

А Москва все ещё передавала его песню. Подваливал к Заволжанску почтово-пассажирский теплоход «Наманган» — и на нём гремел Леонтий Архипкин. Шёл с верховья скорый пароход «Спартак» — и там пассажиры слушали Архипкина. На пристанях пел он. И старый грузчик, остановившись с кладью под рупором на мостках, говорил:

— Ничего. Это поёт... Правильно. По-нашему. Ровно наш Архипкин, бывало! Вот был голосище! Громобой! Поперёк Волги слышать было.

И на площади Красных водников, и на Рыбном взвозе, и на Оскорьях, и на Расходиловке, и в Гнилом Затоне, и у лесопилок, и на острове Семи рыбаков — всюду пел Леонтий Архипкин по заявке учеников четвёртой школы:

...Кто неправдой не жил, бедняка не давил
И свободу, как мать дорогую, любил
И во имя её подвизался,
Пусть тот смело идёт, на утёс тот взойдёт
И к нему чутким ухом приляжет.
И утёс-великан всё, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет.

И едва замолк этот голос, как оттуда, из вечерних волжских далей, из-за песков, с тёплым речным ветром снова возвратился он, густой, протяжный и чистый. Это последние заветные слова песни, спетой сорок лет назад, теперь, ничего не утаивая, повторило задумчивое волжское эхо.